

Р. П. С. ТРИЗОВ

ТЕНИ ВОЙНЫ СМЕРШ

18+

Валерий Стрижов

ТЕНИ ВОЙНЫ СМЕРШ

«Автор»

2026

Стрижов В.

ТЕНИ ВОЙНЫ СМЕРШ / В. Стрижов — «Автор», 2026

Апрель 1943 года. Курская дуга — решающее сражение, которое изменит ход всей войны. Но пока танковые армии готовятся к столкновению, на невидимом фронте уже идёт другая битва — битва разведок, где цена ошибки — тысячи жизней. Капитан госбезопасности Павел Рощин получает приказ, который переворачивает его судьбу: возглавить новый орган контрразведки «СМЕРШ» и остановить агентурную сеть абвера, готовящую диверсии в тылу наступающих фронтов. Его противник — майор фон Хайне, хладнокровный аналитик, который не стреляет из автомата, но плетёт паутину, способную опутать целые армии. Их противостояние — не просто дуэль профессионалов, это война систем, идеологий и людей, оказавшихся по разные стороны линии фронта. От Курской дуги до днепровских переправ, от пепла Освенцима до руин Берлина — Рощин ведёт свою охоту. За ним — преданная группа: криптограф Рубинчик, оперативник Лыков, переводчица Нина, чья судьба неразрывно связана с его собственной. Но тени прошлого не отпускают: агент «Тень».

© Стрижов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

ТЕНИ ВОЙНЫ СМЕРШ

Глава

ТЕНИ ВОЙНЫ СМЕРШ

Глава 1. «Приказ № 3222» (глубокая переработка с сохранением объёма)

Случалось ли вам, читатель, брести в непроглядной ночной тьме по улицам города, который, казалось, затаил дыхание в ожидании неминуемой беды? Если да, то вы отчасти сможете понять то состояние, в каком я, капитан госбезопасности Павел Андреевич Рошин, пребывал в тот апрельский вечер, когда судьба, эта капризная и насмешливая особа, решила круто переменить течение моей жизни. Москва, обычно суетливая и шумная даже в самые глухие часы, теперь лежала передо мной словно огромный, погружённый в летаргический сон зверь. Фонари не горели, окна домов были наглухо зашторены или заклеены крест-накрест бумажными полосами, и лишь редкие, замаскированные синими лампочками фары автомобилей скользили по мокрому асфальту, выхватывая из мрака фигуры одиноких прохожих, спешивших укрыться от промозглого ветра.

Снег, крупный и мокрый, валил сплошной стеной, словно сама природа решила напоследок обрушить на город всю свою ярость. Он залеплял лицо, забивался за воротник шинели, таял на бровях, и я, сидя в кузове тряского газака, чувствовал, как холод пробирается сквозь ткань, добираясь до самых костей. Впрочем, этот внешний холод мало меня беспокоил. Куда сильнее донимала та внутренняя, сосущая пустота под ложечкой, что всегда предшествует событиям, значение которых невозможно предугадать, но чью важность ощущаешь всем своим существом. Она была похожа на тот липкий, давящий страх, что охватывает пловца, когда он вдруг перестаёт чувствовать дно под ногами, хотя вода вокруг всё та же.

Вызов в Кремль был передан мне через дежурного по управлению около десяти часов вечера. Сухой, казённый голос в телефонной трубке не удостоил меня никакими объяснениями. «Капитану Рошину прибыть немедленно. Пропуск заказан у Боровицких ворот». И всё. Ни слова о причине, ни намёка на то, кто именно меня вызывает. Но я, прослуживший в органах без малого десять лет, слишком хорошо знал цену подобным вызовам. В нашем ведомстве немногословие было не признаком грубости, а формой самосохранения. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Чем меньше говорят тебе, тем серьёзнее дело. И сейчас, когда снег хлестал по брезентовому пологу, а пальцы, сжимавшие колени, уже начали неметь от холода, я перебирал в памяти последние операции: разоблачение диверсантов на Кировском заводе, поимка агента-связиста у Курского вокзала, долгая, кропотливая разработка сети, раскинутой абвером среди беженцев. Рутинные дела — во всяком случае, не настолько значительные, чтобы докладывать о них на самом верху. Может быть, ошибка? Просчёт? При этой мысли внутри, под рёбрами, шевельнулась та самая ледяная змея, что всегда предвещала беду, и я отогнал её прочь, убеждая себя, что действовал строго по уставу.

У Боровицких ворот меня встретил молчаливый офицер с лицом, словно вырубленным из серого уральского гранита. Он проверил мои документы — с той тщательностью, какая бывает только у людей, несущих службу в местах, где любая оплошность может стоить головы, — и, не проронив ни слова, жестом пригласил следовать за собой. Мы пошли по бесконечным, гулким коридорам, устланным красными ковровыми дорожками, мимо дверей, обитых войлоком, мимо часовых, застывших в неподвижности, словно изваяния. Воздух здесь был особенный — спёртый, тёплый, пахнувший старым деревом, мастикой для полов и чем-то ещё, трудноуловимым. Запахом истории? Запахом власти? Не знаю. Но этот запах, смешанный с

тишиной, казалось, проникал в самую душу, заставляя сердце биться чаще, а мысли метаться, словно испуганные птицы в запертой клетке. Где-то под ногами скрипнула половица — и этот звук, неожиданно громкий в мёртвой тишине, отозвался у меня в висках тупой, ноющей болью.

В приёмной, отделанной морёным дубом, мне указали на стул с высокой, неудобной спинкой. Я сел, положив фуражку на колени, и принялся ждать. Время тянулось с той особой, мучительной медлительностью, какая бывает только в часы ожидания перед неизвестностью. Мимо меня изредка проходили люди — военные в высоких званиях, штатские с портфелями, — но все они двигались тихо, почти бесшумно, словно тени. Никто не заговаривал, никто не смотрел в мою сторону. Я был здесь чужим, и это одиночество, помноженное на гнетущую атмосферу коридоров власти, начинало действовать на нервы. Я слышал, как тикают часы на стене, как где-то далеко, за толстыми стенами, ухает поезд метро, и эти звуки казались мне неестественно громкими, почти оглушительными.

Сколько я так просидел — полчаса, час, два? — не знаю. Когда дверь, ведущая в кабинет, бесшумно отворилась, и тот самый молчаливый офицер кивнул: «Войдите», — я поднялся с таким чувством, словно только что вынырнул из глубокой, чёрной воды.

Кабинет, в который я ступил, поражал не размерами — хотя он был достаточно велик, — а той нарочитой, почти театральной перспективой, которая заставляла чувствовать себя песчинкой в огромном механизме. Массивный письменный стол в дальнем конце казался крошечным, словно игрушечным, и чтобы достичь его, требовалось преодолеть несколько десятков шагов, и каждый из них отдавался в висках гулким эхом. Вдоль стен, задрапированных тёмными портьерами, стояли стулья с высокими спинками, а над головой нависал лепной потолок, с которого свисала люстра, сейчас, впрочем, не горевшая. Единственным источником света служила настольная лампа под зелёным абажуром — её мягкий, скупой свет выхватывал из мрака лишь небольшой круг вокруг стола, оставляя всё остальное в густой, почти осязаемой тени. Эта игра света и тьмы, казалось, была продумана до мелочей, чтобы посетитель чувствовал себя не в кабинете, а на сцене, где каждое его слово, каждый жест будут оценены незримыми зрителями.

В дальнем конце кабинета, у книжных шкафов, стоял человек. Он был невысок ростом, одет в простой френч, и в его позе, в том, как он, слегка ссутулившись, разбирал какие-то бумаги, не было ничего величественного или угрожающего. Но я, капитан Роцин, повидавший на своём веку немало людей, облечённых властью, сразу почувствовал ту особую, незримую силу, что исходила от этой невысокой фигуры. Силу, не нуждавшуюся ни в погонах, ни в громких речах. Силу, сконцентрированную в одной точке, подобно тому, как линза собирает солнечные лучи. Когда он повернулся, я заметил, как тускло блеснул стеклянный наконечник его трубки, и этот маленький, почти незаметный блик показался мне символом всей той сосредоточенной, нерастраченной энергии, что таилась в этом человеке.

Рядом с ним, чуть поодаль, стояли двое. Одного, грузного, в пенсне, я узнал сразу — нарком Берия. Второго, молодавого, с холодным, ничего не выражавшим взглядом, мне представили: комиссар госбезопасности второго ранга Абакумов.

— Подойдите, товарищ Роцин, — произнёс человек у шкафов, и голос его, негромкий, с лёгким кавказским акцентом, прозвучал отчётливо, словно каждое слово было отделено от другого невидимой паузой. — Садитесь.

Я прошёл эти несколько метров, показавшиеся мне бесконечными, и опустился на указанный стул. Спинка его оказалась столь же неудобной, как и в приёмной, и я невольно выпрямился, чувствуя, как напрягается каждая мышца. Верховный — а это был именно он — некоторое время молчал, раскуривая трубку. Табак пах терпко, сладковато, и дым, поднимавшийся к потолку, образовывал причудливые завитки в свете лампы. Эти завитки, казалось, жили своей собственной жизнью, сворачиваясь в кольца и распадаясь, словно мысли, которые я тщетно пытался собрать воедино.

— Доложите, — произнёс он наконец, не глядя на меня, — как вы раскрыли то дело о хищениях на авиационном заводе. Меня интересует не то, кто украл, а то, как вы на них вышли.

Я понял: экзамен. Экзамен, который мне нужно выдержать во что бы то ни стало. Собравшись с мыслями, я начал докладывать — коротко, чётко, опуская незначительные детали и выделяя главное: метод оперативной игры, внедрение нашего человека в преступную цепочку, перехват канала связи. Я говорил, а он слушал, медленно прохаживаясь вдоль стола, и по его лицу, по тому, как он изредка кивал, я не мог понять, одобряет он меня или нет. Единственное, что я уловил, — это то, как его пальцы, державшие трубку, на мгновение замерли, когда я упомянул о перехвате, и это короткое, почти незаметное движение ободрило меня больше, чем любые слова.

Когда я закончил, он остановился и, вынув трубку изо рта, произнёс:

— Аккуратно сработано. У немца размах больше, но хватка та же. Бюрократическая хватка. Их разведка — это не кинжал. Это бухгалтерская книга, где каждый прокол записан. Они работают с человеческим фактором как со статьёй расходов. Но расход можно списать, а можно и преумножить. Мы должны научиться читать их бухгалтерию.

Затем он подошёл к столу и взял тонкую папку. Я заметил, как напрягся Абакумов — его челюсти сжались, а пальцы, лежавшие на столе, слегка дрогнули.

— Война вступает в решающую фазу, — продолжал Верховный, и голос его стал жёстче. — К лету немцы попытаются взять реванш за Сталинград. Нам точно известно направление — Курский выступ. Они соберут там всё, что у них есть. И не только танки. Их разведка, абвер, бросит против нас всю свою агентурную сеть. Цель — ослепить, лишить связи, нарушить снабжение. Взорванный эшелон, застреленный офицер связи, ложный приказ — всё это стоит дивизии. А то и армии.

Он положил папку на стол и подтолкнул её ко мне.

— Здесь перечень объектов в полосе Центрального и Воронежского фронтов. Узлы связи в Понырях и Золотухино, склад ГСМ в Щиграх, штабы нескольких дивизий. Они будут охотиться не за генералами, а за системой управления.

Я слушал, и перед моим мысленным взором, словно из разрозненных кусочков мозаики, начала складываться картина. Враг был не просто хитёр — он был методичен. Он действовал, как опытный биржевой маклер, просчитывая риски и вкладывая средства только в те операции, что сулили максимальную выгоду. И противостоять ему предстояло мне.

— Поэтому, — продолжал Верховный, — для укрепления этой борьбы будет создан новый орган. «Смерть шпионам». СМЕРШ. Это не просто смена названия. Это переход от обороны к наступлению на невидимом фронте. И вы, капитан Рошин, начнёте это наступление.

Абакумов, до того молчавший, сухо добавил:

— Постановление ГКО будет подписано завтра. Вы направляетесь в распоряжение Военного совета Центрального фронта. Ваша задача — возглавить оперативно-розыскную группу. Основной упор — на агентурную работу по штабам и узлам связи. Объекты, указанные товарищем Сталиным, должны быть взяты под особый контроль.

А Берия, поправив пенсне, произнёс с той вкрадчивой, почти отеческой интонацией, за которой, как я знал, могла скрываться и угроза:

— Враг будет использовать нашу эвакуацию, военнопленных, уголовный элемент. Каждый вышедший из окружения, каждый освобождённый должен пройти через ваше сито. Доверять нельзя никому. Проверять — всех. Ваша подозрительность — теперь главное оружие государства.

Мне оставалось лишь принять это. Я встал, чувствуя, как груз ответственности, только что возложенный на мои плечи, давит всей своей тяжестью. Но вместе с тем во мне росло и другое чувство — то холодное, сосредоточенное возбуждение, что бывает у мастера, получившего в руки сложный, но интересный заказ.

— Разрешите идти? — спросил я.

— Идите, — ответил Верховный, вновь закуривая трубку. — И помните: ваша работа — не карать. Карать всегда успеем. Ваша работа — знать. Знать врага лучше, чем он знает себя сам.

Я вышел в коридор, сжимая в руке папку с перечнем объектов. За окнами, сквозь плотные шторы, уже пробивался серый, неверный свет занимающегося утра. Москва пробуждалась, не ведая того, что в её кремлёвских стенах только что была решена судьба тысяч людей — тех, кто уже сейчас, в эти самые минуты, готовил свои диверсии на Курской дуге, и тех, кому предстояло их остановить.

Я спустился по лестнице, миновал молчаливых часовых и вышел на свежий, пропитанный запахом мокрого снега воздух. Снегопад прекратился, и в сером утреннем небе, над башнями Кремля, проступали первые, ещё бледные проблески зари. Я глубоко вдохнул — и почувствовал, как холодный воздух обжигает лёгкие, прочищая голову после душной атмосферы кабинета. У подъезда меня ждал всё тот же автомобиль. Я сел в него и приказал ехать в управление. В голове роились тысячи мыслей, и каждая из них была горше другой. Но одна мысль выделялась среди прочих своей ясностью и холодной, как сталь клинка, определённой: я, капитан Рошин, отныне не просто офицер госбезопасности. Я — один из тех, кто призван плести свою собственную паутину. Паутину, в которой должен будет запутаться враг. И я сделаю это. Чего бы мне это ни стоило.

Глава 2. Формирование группы и эшелон на фронт

Три дня, следовавшие за моей достопамятной аудиенцией в Кремле, вместили в себя столько хлопот, волнений и забот, что иному человеку хватило бы на целую жизнь. Я носился по Москве, словно загнанная лошадь, с одного конца на другой — из управления в управление, из отдела в отдел, подписывая бумаги, получая предписания, формируя штат. И в этой суете, в этом водовороте казённых формальностей, подчас терялось самое главное — ощущение того, что ты не просто винтик в огромной машине, а живой человек, от решений которого зависят судьбы других живых людей. Где-то на задворках сознания теплилась мысль, что вот-вот всё изменится, что я шагну в неведомое, но пока — только бумаги, подписи, печати, бесконечные очереди в коридорах Наркомата.

Моим первым и, пожалуй, самым важным делом был подбор людей. Ибо я, капитан Рошин, достаточно повидал на своём веку, чтобы знать: никакая, даже самая блестящая стратегия не стоит и ломаного гроша, если её некому исполнять. Армия — это не только пушки и танки. Армия — это люди. И в моей, невидимой армии, люди значили ещё больше, чем в обычной. Здесь, на тайном фронте, где враг не носил мундира и не атаковал в открытую, каждый боец должен был обладать особыми качествами — не столько физической силой, сколько остротой ума, выдержкой и той редкостной способностью видеть в хаосе систему, а в случайности — закономерность.

Личные дела, которые мне предстояло изучить, лежали на столе высокой стопкой. Каждое из них представляло собой не просто перечень анкетных данных, а скорее сжатый до нескольких страниц роман. Здесь были люди с безупречными послужными списками, чья карьера напоминала гладкую, прямую дорогу, и люди, чьи биографии пестрели тёмными пятнами — окружения, плен, пребывание на оккупированной территории. Отбирать кого-то из них, отвергая других, было делом мучительным в нравственном отношении. За каждой строкой «находился в окружении» стояла, возможно, трагедия человека, честно исполнившего свой долг, но попавшего в жернова обстоятельств. А за каждой строкой «прошёл фильтрацию» мог скрываться умело замаскированный враг.

Первым, на ком остановился мой выбор, был Иосиф Львович Рубинчик – человек, чьё имя я произношу с чувством глубокой, почти сыновней признательности. Мы познакомились с ним ещё в сороковом, когда я, молодой оперуполномоченный, расследовал дело о хищении секретной документации на одном из оборонных заводов. Уже тогда Рубинчик, работавший в техническом отделе, поразил меня своим умением находить закономерности там, где другие видели лишь хаос цифр и символов. Он был невысок, сутуловат, с вечно прищуренными близорукими глазами, которые, казалось, постоянно всматривались во что-то, недоступное обычному зрению. Его кабинет, куда я зашёл в тот памятный день, напоминал не место работы государственного служащего, а скорее лабораторию алхимика: повсюду громоздились самодельные приборы из шестерёнок, ламп и мотков проволоки, на столах лежали груды перфокарт, а в воздухе витал едва уловимый запах канифоли и нагретого металла. Когда я вошёл, он сидел, склонившись над сложной диаграммой, и его тонкие, нервные пальцы чертили какие-то линии, словно он общался с невидимым собеседником.

– Иосиф Львович, – обратился я к нему, когда он наконец заметил моё присутствие и поднял голову, – у меня к вам дело чрезвычайной важности. Я формирую группу для работы на Центральном фронте. Мне нужны лучшие умы. И вы – первый в моём списке.

Рубинчик снял очки и протёр их кончиком галстука – жест, который я запомнил на всю жизнь, ибо он означал у него высшую степень сосредоточенности. Его глаза, близорукие и внимательные, смотрели на меня с рассеянной, чуть извиняющейся улыбкой, какая бывает у людей, чьи мысли постоянно витают где-то в иных, более интересных сферах.

– На фронт? – переспросил он, и в его голосе не было ни страха, ни воодушевления, лишь спокойная, почти будничная готовность. – Что ж, я, признаться, никогда не думал, что мои скромные познания могут пригодиться на поле боя. Но если вы считаете, что от моих таблиц и шифров там будет толк... я готов.

Так он стал моим главным криптографом и аналитиком – человеком, которому суждено было распутать не одну вражескую головоломку. И теперь, оглядываясь назад, я не могу не воздать должного этому скромному, тихому труженику, чей вклад в нашу общую победу был поистине неоценим.

Вторым, на ком я остановил свой выбор, был Семён Ильич Лыков – фигура, противоположная Рубинчику во всех отношениях. Если Иосиф Львович был кабинетным учёным, человеком мысли, то Лыков был человеком действия. Родом из вологодских крестьян, он сохранил ту особую, мужицкую хватку, что позволяла ему ориентироваться в самых сложных ситуациях с тем же спокойным, чуть насмешливым прагматизмом, с каким его предки валили лес и пахали землю. Его лицо, простое и открытое, с голубыми глазами, могло показаться простоватым, но я-то знал, что за этой внешностью скрывается ум острый, цепкий и совершенно беспощадный к врагам. В нём не было ни грамма рефлексии, что так часто мешает людям образованным принимать быстрые и жёсткие решения. Он действовал, как сама природа, – просто, эффективно и без лишних сантиментов.

Именно с Лыковым и связан тот эпизод, который я намерен здесь изложить подробно, ибо он, как мне кажется, ярче всяких характеристик обрисовывает и суть этого человека, и ту суровую, но справедливую мораль, что царила в наших рядах. Случилось это на Казанском вокзале, откуда наш эшелон должен был отправиться в расположение штаба фронта. День стоял серый, промозглый, и в воздухе, перенасыщенном влагой, смешивались запахи паровозной гари, мокрых шинелей, махорки и того особого, казённого духа, что исходит от армейских складов. Погрузка шла в нервной, лихорадочной спешке, ибо время поджимало, а эшелон нужно было отправить точно по графику – ни на минуту позже, иначе фронт остался бы без подкрепления.

Я проверял укладку нашего немногочисленного, но крайне ценного оборудования – радиостанций, шифроблокнотов, карт, – когда краем глаза заметил какое-то смятение у шта-

беля ящиков с продовольствием. Два сержанта из хоззвода, с лицами, выражавшими одновременно и крайнюю степень смущения, и туповатое упрямство, мялись перед невозмутимым, как скала, Лыковым. Чуть поодаль стоял ящик с тушёнкой, и в нём, среди аккуратных рядов банок, зияла предательская пустота – место трёх банок, словно вырезанных ножом. Лыков, скрестив на груди свои массивные, привыкшие к топору и лопате руки, смотрел на провинившихся с выражением, которое я мог бы определить как смесь отеческой укоризны и искреннего, почти философского интереса.

– Значит, так вы, орлы, фронту помогаете, – произнёс он тихо, но веско, и в его голосе не было ни гнева, ни угрозы – только та спокойная, тяжеловесная уверенность, что бывает у человека, знающего себе цену. – Не штыком, значит, врага, а ложкой. Тактика, спору нет, новая. В уставах, правда, пока не прописана, но, думаю, после войны отдельную главу добавят.

Сержанты, красные как раки, принялись было что-то бормотать – про пересортицу на складе, про то, что ящик, мол, «таким и пришёл», – но Лыков остановил их лёгким движением ладони, словно отгоняя назойливых мух. Его голубые глаза, обычно добродушные, сузились, и в них мелькнул тот самый холодный, стальной блеск, который я хорошо знал по его допросам.

– Не трудитесь, – сказал он. – Легенду о складе я и сам сочинить могу, дайте срок. Дело ваше, конечно, нехитрое. Голод, он, известно, разума не прибавляет. Но только подумайте вот о чём. Солдат, который в окопе сидит, в холоде да в грязи, он эту тушёнку как манну небесную ждёт. Каждая банка на взвод идёт, по ложке на брата. А без вашей банки – на две ложки меньше. Это, может, в бою и незаметно. А вот ночью, перед атакой, когда сосёт под ложечкой, солдат эту нехватку чувствует. И знаете, орлы, о чём он в ту минуту думает? Не о Родине. И не о Сталине. Он о вас думает. О тех, кто в тылу, в тепле, его паёк подьел.

Повисла пауза – тяжёлая, гнетущая, как предгрозовое небо. Сержанты стояли, опустив головы, и я видел, как у одного из них дрожат губы. Не от страха перед трибуналом – от стыда. Ибо нет наказания страшнее, чем то, которое пробуждает в человеке совесть. Лыков это знал. И он, в совершенстве владея искусством человеческой инженерии, нанёс последний, завершающий удар.

– Вот что, – сказал он уже совсем другим, деловым тоном, и в его голосе вновь зазвучала та самая мужицкая рассудительность, что всегда помогала ему находить выход из самых запутанных ситуаций. – В эшелоне у нас бойцов человек тридцать, и все они будут глядеть за хозяйством в оба. Но если вы, орлы, поможете мне проследить, чтобы за дорогу ни одна банка больше никуда не запропастилась, – он сделал паузу, давая словам осесть, – я забуду о том, что сейчас видел. И о том, что вы мне тут так складно ввали, тоже забуду. Идёт?

Сержанты, ещё не веря своему счастью, закивали так часто, что их головы, казалось, вот-вот оторвутся от шей. Лыков, заметив меня, лишь коротко, по-уставному кивнул и произнёс вполголоса, будто извиняясь:

– С таким народом, товарищ капитан, воевать можно. Вороватый – значит, хозяйственный. Приучим. Был бы человек хороший, а плохого мы из него, ежели надо, и сами сделаем.

Я ничего не ответил. Да и что тут было отвечать? В этом коротком эпизоде, занявшем от силы пять минут, проявилась вся суть моего заместителя. Он не стал карать – он завербовал. Не стал запугивать – он привязал к себе этих людей узами стыда и общей ответственности. Это был прирождённый охотник за душами, и я знал, что в грядущих операциях его талант сослужит нам неоценимую службу.

Эшелон наш, состоявший из нескольких товарных вагонов, переоборудованных под перевозку людей, и платформ с зачехлённой техникой, отправился в путь ближе к полуночи. Дорога на фронт – это всегда особое, ни с чем не сравнимое испытание. Ты сидишь в натоленном, пропахшем махоркой и соляжкой вагоне, слушаешь мерный перестук колёс и думаешь. О чём? О разном. О доме, который остался где-то далеко, за сотни километров, и который, возможно, ты уже никогда не увидишь. О товарищах, с которыми завтра, быть может, пойдёшь в бой.

О враге – том невидимом, но оттого ещё более опасном враге, что ждёт тебя на незнакомой, изрытой воронками земле. И постепенно, под этот монотонный аккомпанемент, мысли твои из беспорядочного, лихорадочного потока превращаются в нечто цельное, собранное, как винтовка перед атакой.

За окнами вагона мелькали станции – полустанки, разъезды, маленькие города, которые война превратила в серые, обугленные призраки. На каждой, даже самой захудалой, кипела работа – женщины в телогрейках разгружали составы с углём и лесом, подростки, казавшиеся слишком маленькими для своих лопат, чистили пути от снега, старики с красными повязками на руках регулировали движение. И над всем этим, над этой кипучей, самоотверженной деятельностью, витал дух суровой, молчаливой решимости. Никто не жаловался. Никто не роптал. Все понимали: ещё одно, последнее усилие – и враг будет сломлен. Я смотрел на эти лица, и в каждом из них, в каждой морщинке, в каждом усталом взгляде я читал ту же мысль, что жила и во мне: мы не отступим. Мы дойдём.

Наконец, на исходе третьих суток пути, глубокой ночью, когда небо на горизонте уже подрагивало от далёких зарниц, мы прибыли в расположение штаба Центрального фронта. Штаб этот, как и положено прифронтовому штабу, размещался не в городе, а в густом, пахнущем прелой хвоей лесу, в сложной системе блиндажей и землянок, тщательно укрытых маскировочными сетями от всевидящего ока вражеской авиации. Здесь не было той суеты, что царила на вокзалах. Здесь царила сосредоточенная, деловая тишина, нарушаемая лишь гулом далёкой канонады да треском поленьев в железных печках. В этой тишине, среди запаха сырой земли и дыма, я остро ощутил, что моя война только начинается.

Меня, едва я успел сойти с подножки вагона и размять затёкшие ноги, немедленно проводили к начальнику особого отдела фронта – генерал-майору Вадину. Его блиндаж, в отличие от прочих, был оборудован с той особой, мрачноватой основательностью, что свойственна жилищам людей, привыкших к долгой осаде. На стенах, обитых тёсом, висели не карты с оперативной обстановкой, а карты совершенно иного рода – с россыпями цветных флажков, каждый из которых означал чью-то погибшую жизнь или проваленную операцию. Я сразу это заметил и, ещё не зная, в чём дело, почувствовал, как напрягается внутри меня та самая пружина профессионального азарта, что всегда предшествовала охоте.

Генерал Вадин, человек с лицом, изрезанным морщинами, встретил меня стоя. Он не стал тратить время на приветствия, а сразу указал чубуком трубки на разложенные перед ним листы.

– Вот, полюбуйте, капитан, – произнёс он хрипловатым, простуженным голосом, который, казалось, сам был пропитан пороховой гарью, – это наш невидимый фронт. Каждый красный флажок – подтверждённый случай вражеской заброски. Каждый синий – перехваченный сеанс радиосвязи неизвестного корреспондента. Каждый чёрный – диверсия, по которой мы не имеем ни одной зацепки.

Я подошёл ближе и склонился над картой. Зрелище, открывшееся мне, было поистине удручающим. Красные, синие и чёрные значки покрывали весь оперативный тыл фронта, особенно густо концентрируясь вокруг крупных железнодорожных узлов и складов. Это напоминало не карту, а скорее анатомический атлас, на котором каждая точка обозначала метастазу смертельной болезни – и от этого сравнения мне стало не по себе.

– А вот здесь, – генерал ткнул пальцем в район станции Поныри, – за последнюю неделю три попытки вербовки из числа железнодорожного персонала. Агенты идут под видом беженцев, мешочников. Здесь, южнее, в полосе Тринадцатой армии, взят курьер с комплектом чистых бланков штаба дивизии. Настоящих, не поддельных. Значит, у них есть доступ к секретному делопроизводству, возможно, на уровне корпуса.

Он перевёл дыхание и, достав из сейфа папку с грифом «Совершенно секретно», положил её передо мной. Папка была тяжёлой, и я ощутил вес её содержимого даже прежде, чем открыл.

– Здесь – расшифровки перехваченных радиogramм. Наши слухачи засекли три новых передатчика, работающих в радиусе тридцати километров от линии фронта. Два уже пеленгуются, один, самый активный, кочует. Мы его называем «Цикада». Профессионал высочайшего класса. Работает на коротких волнах, меняет частоты, уходит от пеленгации, как уж от вил. А вот здесь, – он подвинул ко мне ещё один лист, испещрённый столбцами цифр и дат, – сводка по агентурным провалам. За апрель мы потеряли четверых внедрённых агентов. Связь с ними прекратилась в одно и то же время – в течение трёх суток. Это не случайность. Кто-то методично вычищает нашу сеть. Кто-то, кто знает о ней всё.

Я слушал его, и абстрактная задача, поставленная передо мной в кремлёвском кабинете, обретала зримые, пугающие очертания. Речь шла уже не просто о списке объектов. Речь шла о живых людях, о предателях и героях, о той невидимой битве, что кипела здесь, в лесах под Курском, с не меньшим ожесточением, чем на передовой. Я чувствовал, как холодный пот выступает на висках, но заставлял себя сохранять внешнее спокойствие.

– Ваша задача, Рошин, – произнёс генерал, сверля меня взглядом, и его голос стал жёстче, – не просто ловить диверсантов. Это – последний этап. Ваша задача – понять систему. Как они вербуют? Где хранят архивы? Кто их главный резидент? Мы знаем, что операцией на этом участке руководит абверкоманда-103. Её начальник, майор фон Хайне, – фигура нам почти неизвестная. Не полевой командир, а штабная крыса. Он не гоняется за эффектными диверсиями. Он плетёт сеть. Медленно, методично, на годы вперёд. И эту сеть нам предстоит порвать.

Я стоял, глядя на карту, на эти россыпи значков, и чувствовал, как во мне закипает тот холодный, сосредоточенный азарт, что был мне знаком по прежним, ещё довоенным делам. У меня был противник. Не безликая масса, а конкретный человек – аналитик, кабинетный стратег, который, возможно, в этот самый момент сидит где-то за линией фронта и наносит на свою карту новые точки – наши слабые места.

– Разрешите приступить? – спросил я, выпрямившись.

– Приступайте, капитан. Время пошло. До начала немецкого наступления, по нашим расчётам, осталось не больше двух месяцев. И каждый день, что мы теряем, – это ещё один флажок на этой карте. И ещё одна чья-то жизнь.

Я вышел из блиндажа в сырую апрельскую ночь. Где-то за деревьями, на западе, небо озарялось всполохами далёкой канонады. Там шла позиционная война – война орудий и окопов. А здесь, в тишине штабных землянок, начиналась другая война – война интеллектов. И я, капитан Рошин, был готов вступить в неё с первого же часа.

Глава 3. Первое дело — убийство офицера связи

В жизни каждого человека, чья профессия связана с расследованием преступлений, бывает первое дело. Не то, которому предшествуют долгие годы ученичества и наблюдения за работой старших товарищей, но то самое, что ты ведёшь от начала и до конца самостоятельно, чувствуя на своих плечах всю тяжесть ответственности. И если мне, полковнику Рошину, суждено прожить ещё сто жизней, я никогда не забуду то апрельское утро, когда война – та самая, о которой мы читали в сводках и слышали по радио, – впервые явилась мне не в грохоте артиллерийских канонад, не в цифрах потерь на страницах газет, но в образе одного-единственного мёртвого человека, лежавшего в кювете у разбитой просёлочной дороги. Именно с этого мёртвого человека, с этой нелепой, трагической смерти и началась моя собственная война – та невидимая, тайная война, что велась не на полях сражений, а в тишине кабинетов, на заброшенных хуторах и в эфире, наполненном писком морзянки.

Известие пришло на рассвете, когда я, проведя почти двое суток без сна за изучением карт, сводок и донесений, позволил себе наконец смежить веки. В блиндаже было тихо, только потрескивала догорающая свеча, роняя в жестяную пепельницу длинные, изогнутые наросты стеарина, да где-то далеко, словно отзвук иного мира, глухо ухали орудия. Я спал тем тяжёлым, похожим на обморок сном, какой бывает у людей, доведённых до крайней степени изнеможения, когда вдруг почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Это был дежурный офицер – молодой лейтенант с воспалёнными от хронического недосыпания глазами и тем особым, напряжённым выражением на лице, что предшествует дурным вестям. Его пальцы, коснувшись моего плеча, были холодны, и этот холод передался мне, заставив мгновенно очнуться.

– Товарищ капитан, – произнёс он, стараясь говорить тихо, но от волнения его голос срывался на хрип, – разрешите доложить. Только что патруль обнаружил тело. В трёх километрах от штаба. Убит офицер. Документы на имя капитана Шапошникова. Из оперативного отдела.

Сон слетел с меня мгновенно, словно шелуха. Я встал, плеснул в лицо ледяной водой из стоявшего тут же ведра, и холодная жидкость, обжёгшая кожу, окончательно прогнала остатки дремоты. Не тратя времени на расспросы, я приказал подавать машину – и через двадцать минут уже стоял на месте преступления. Картина, открывшаяся моим глазам, навсегда врезалась в память как образец того, на что способен человек, объявивший войну всем законам божеским и человеческим.

Утро только занималось над лесом, и его свет, серый и неверный, с трудом пробивался сквозь плотную пелену тумана, стелившегося над землёй. Дорога, разбитая колёсами бесчисленных грузовиков и гусеницами танков, блестела лужами застоявшейся воды, в которых, словно в зеркалах, отражались голые, ещё не одевшиеся листвой ветви берёз. В воздухе пахло сыростью, прелой прошлогодней травой и той особой, тревожной гарью, что всегда сопутствует передовой. А в кювете, наполовину скрытый пожухлым бурьяном, лежал человек. Он лежал на спине, неловко раскинув руки, и его лицо, обращённое к небу, выражало не страх, не муку, но какое-то странное, почти оскорбительное для живых удивление. Словно смерть, эта старая карга, подкралась к нему с той стороны, откуда он менее всего ожидал её появления, и застала врасплох, в тот самый миг, когда он думал о чём-то обыденном – может быть, о предстоящем ужине или о письме, которое не успел отправить жене.

Первым делом я приказал оцепить место происшествия. Лыков, прибывший вместе со мной, взял на себя эту задачу, и его зычный, привыкший перекрывать шум боя голос быстро разогнал немногочисленных зевак – двух ездовых из хоззвода, первыми наткнувшихся на труп, да нескольких солдат из проходившей мимо колонны. После этого, убедившись, что никто не нарушит картину преступления, мы приступили к осмотру.

Капитан Шапошников – а в том, что это именно он, сомнений не возникало: документы в нагрудном кармане гимнастёрки полностью соответствовали внешности, – оказался человеком лет тридцати, с тонкими, интеллигентными чертами лица, какие часто встречаются у кадровых штабистов, проводящих жизнь не в окопах, а за оперативными картами. Одет он был по уставу, аккуратно и даже щеголевато, и лишь одна деталь нарушала этот строгий порядок: его полевая сумка, которую офицеры связи носят через плечо, отсутствовала. Вместо неё на боку сиротливо болтался пустой, перерезанный острым ножом ремешок – концы его были ровными, без бахромы, словно их отсекли одним точным движением. Смерть наступила от ножевого ранения в шею – удар был нанесён сзади, в основание черепа, точный, безжалостный, свидетельствовавший о том, что убийца либо хорошо знал своё дело, либо имел немалый опыт в такого рода предприятиях. Кровь, уже успевшая застыть тёмной коркой, пропитала воротник гимнастёрки и часть земли под головой.

– Чисто сработано, – произнёс Лыков, присаживаясь на корточки рядом с телом и внимательно разглядывая рану. Его толстые, узловатые пальцы осторожно ощупали край раны, и он покачал головой. – Следов борьбы нет. Оружие на месте, в кобуре. Часы на руке – золотые,

«Победа», не тронуты. Бумажник в кармане – деньги и карточки нетронуты. Стало быть, не грабёж. Охотились именно за сумкой. За документами.

– Или за чем-то, что в этих документах содержалось, – добавил я, продолжая осмотр.

Мои пальцы, затянутые в тонкие кожаные перчатки, методично ощупывали карманы убитого. Всё было на своих местах – расчёска, носовой платок, пачка папирос «Казбек» с начатой, видимо только что распечатанной пачкой. Но в левой руке, судорожно прижатой к груди, я заметил нечто такое, что заставило меня насторожиться. Это был небольшой, почти незаметный комоч грязно-серой бумаги, который пальцы убитого, уже тронутые трупным окоченением, сжимали с той последней, отчаянной хваткой, какая бывает у утопающего, вцепившегося в соломинку. Я осторожно, стараясь не повредить, разжал закоченевшие пальцы и извлёк находку.

Это был обрывок листовки – одной из тех, что немцы в изобилии разбрасывали над нашими позициями. Бумага была низкого качества, серая, рыхлая, аляповато отпечатанная, словно её торопливо штамповали на дешёвом станке. На одной стороне сохранился фрагмент типографского текста на русском языке, гласивший: «...бойцы! Ваши комиссары гонят вас на убой...» – стандартный образчик вражеской пропаганды, рассчитанной на самых недалёких и малодушных. Но ценность представляла другая сторона обрывка. На ней, в правом верхнем углу, едва заметные на сером фоне, виднелись крошечные, аккуратно выведенные остро заточенным карандашом цифры: «52° 21' 09" N, 36° 15' 47" E». Цифры были столь мелки, что их можно было принять за типографский брак, но я слишком хорошо знал, что случайностей не бывает.

– Координаты, – произнёс я скорее для себя, чем для Лыкова. – Семён Ильич, взгляните.

Он взял обрывок, повертел его в своих толстых, узловатых пальцах, посмотрел на свет и хмыкнул.

– Похоже, где-то к северу отсюда. Лесной массив у деревни Гнилец. Глухое место. Ни дорог, ни частей. Что бы это могло быть?

– Тайник, – ответил я, бережно убирая находку в целлулоидный конверт. – Или место встречи. Одно из двух. И наш покойный капитан, видимо, успел отнять этот клочок у убийцы – или, наоборот, спрятать его так, чтобы мы нашли. В любом случае, это не простой мусор.

Я распорядился доставить тело в медсанбат для более тщательного осмотра – возможно, эксперты найдут дополнительные улики, которые я упустил, – а сам, вернувшись в штаб, немедленно вызвал Рубинчика. Иосиф Львович явился незамедлительно, и, едва взглянув на обрывок, его близорукие глаза загорелись тем особым, азартным огнём, какой я уже привык видеть у него при столкновении с каждой новой загадкой. Он удалился в свою лабораторию, представлявшую собой тесную каморку, заставленную приборами, и заперся там на несколько часов. А я тем временем занялся допросами свидетелей.

Свидетели – это, как я уже имел случай заметить, самая ненадёжная часть любого расследования. Из двенадцати человек, видевших капитана Шапошникова в последний день его жизни, лишь трое могли сказать нечто, хотя бы отдалённо напоминавшее связный рассказ. Остальные же, казалось, смотрели на мир сквозь мутное стекло и помнили лишь то, что хотели помнить, или то, что, по их разумению, я хотел от них услышать. И всё же из этой мешанины противоречивых, путаных показаний удалось извлечь одну драгоценную крупицу истины.

Часовой у северного выезда из штаба, молодой безусый парень из-под Рязани, с лицом, ещё хранившим следы юношеской угрелости, вспомнил, что видел капитана Шапошникова в вечер убийства. Тот проехал мимо поста на мотоцикле около одиннадцати, но, вопреки обыкновению, двигался не в сторону штаба дивизии, куда, согласно приказу, должен был доставить пакет, а в прямо противоположном направлении – к заброшенному совхозу «Красный пахарь». И, что было ещё более странно, через минуту после него по той же дороге проследовал трофейный грузовик без опознавательных знаков, который часовой, по его собственному призна-

нию, не остановил, «потому как не моё это дело – транспорт проверять». Когда он говорил это, его пальцы нервно теребили край шинели, а глаза бегали из стороны в сторону.

– Не ваше, значит, дело? – переспросил я, чувствуя, как внутри закипает холодная, знакомая ярость. – А какое же тогда ваше? Спать на посту?

Парень побледнел и начал что-то лепетать в своё оправдание – про усталость, про то, что «ну, думал, свои же», – но я уже не слушал. Я знал: здесь, в этом упущении, кроется ключ к разгадке. Кто-то, знавший о маршруте Шапошникова, заставил его изменить этот маршрут. А затем – убил. Но с какой целью? Только ради документов? Или ради чего-то иного, чего мы пока не знаем?

Ответ пришёл через несколько часов, когда Рубинчик, с торжествующим видом неопита, обретшего наконец истинную веру, вышел из своей каморки и положил передо мной лист бумаги, испещрённый какими-то сложными схемами и расчётами. Его глаза блестели за стёклами очков, а пальцы, державшие лист, слегка дрожали от возбуждения.

– Листовка, – объявил он, поправляя очки и откашливаясь, словно готовясь к важной лекции, – это ключ. Самый настоящий криптографический ключ. Видите эти едва заметные проколы на бумаге? Они не случайны. Если наложить трафарет с буквами немецкого алфавита на текст листовки, проколы указывают на определённые буквы. В сумме получается слово. Одно-единственное. «KONTAKT».

– Контакт, – повторил я, чувствуя, как внутри меня натягивается та самая струна, что всегда предшествует важному открытию. – Значит, это не просто листовка. Это опознавательный знак. Пароль, который агент должен был предъявить своему связнику. А координаты – место встречи. Тайник, где, вероятно, уже лежит то, что должно быть передано.

– Или место, где будет ждать связник, – добавил Лыков, стоявший у двери и куривший свою неизменную папиросу «Беломорканал». – И если мы поторопимся, то сможем взять его с поличным.

Так началось моё первое самостоятельное расследование – то самое, что стало отправной точкой для всей последующей цепи событий. Мы нашли тайник в лесу, у деревни Гнилец, – дупло старого, расколотого молнией дуба, где хранились чистые бланки командировочных предписаний и пистолет «Вальтер» с запасной обоймой. Мы нашли связника – вернее, его тень, ускользнувшую в последний момент, когда мы уже было накрыли его. Но главное, что я вынес из того дела, была не информация и не улики. Это было понимание того, с каким врагом мы столкнулись. Враг этот был не просто хитёр. Он был методичен, терпелив и совершенно беспощаден. Он не нападал в открытую, предпочитая действовать из темноты. И чтобы победить его, нам нужно было научиться думать так же, как он. Стать его тенью. И это, как показали дальнейшие события, мне вполне удалось.

Глава 4. Задержание агента

В деле, которому я посвятил всю свою жизнь, есть одна истина, редко осознаваемая людьми, далёкими от нашего ремесла. Истина эта заключается в том, что самый опасный момент в работе следователя – не погоня, не перестрелка, не риск быть узнанным врагом. Самый опасный момент – это тишина, наступающая после того, как подозреваемый уже сидит перед тобой, а ты ещё не знаешь, какую игру он ведёт. Ибо в этой тишине, наполненной лишь потрескиванием лампы да размеренным тиканьем часов, решается всё. Одно неверное слово, одна фальшивая нота – и ты можешь упустить не просто преступника, но всю цепочку, ведущую к его хозяевам. И напротив, одна вовремя уловленная деталь, одна незаметная для дилетанта заминка в ответе могут раскрыть перед тобой всю картину, словно внезапно отдёргнутый занавес.

Всё это я обдумывал, пока мы с Лыковым, после долгих часов поисков и преследования, доставили наконец задержанного в подвал бывшей сельской школы, превращённый нами во временный оперпункт. Школа эта, стоявшая на отшибе, в полукилометре от штабных блиндажей, была выбрана мною не случайно. Её толстые, сложенные ещё в прошлом веке стены надёжно глушили любые звуки, а единственный вход легко контролировался одним часовым. Сюда, в это мрачное, пропахшее сыростью и плесенью помещение, мы доставляли всех, кто представлял интерес для нашей службы. И сейчас, глядя на человека, сидевшего на грубом табурете посреди комнаты со скованными за спиной руками, я чувствовал, что сегодняшняя ночь станет решающей.

Человек этот, назвавшийся старшиной Нефедовым, был задержан при попытке скрыться на товарной станции. Лыков, блестяще организовавший засаду, взял его живым и без единого выстрела. Но уже при первом беглом осмотре я понял: передо мной не простой дезертир или мародёр. Слишком ухоженные руки – ногти чисто подстрижены, на ладонях нет мозолей, собственных человеку, годами работающему с лопатой или винтовкой. Слишком чистое, несмотря на грязь и пот, бельё – крахмальный воротник, белоснежный, словно он только что снял его с вешалки. И сапоги – немецкие, офицерские, из мягкой, прекрасно выделанной кожи, с тонкой, изящной шнуровкой, – выдавали его с головой. Такие сапоги не носят старшины хоззвода. Такие сапоги носят люди, привыкшие к комфорту даже в полевых условиях. Люди, знающие себе цену.

Перед допросом я приказал Лыкову произвести самый тщательный обыск. Не тот, формальный, что делается при задержании, а настоящий, при котором проверяется каждый шов на одежде, каждый зуб, каждый каблук. Лыков, чьи крестьянские руки были неожиданно ловки и чувствительны, исполнил приказ со всем тщанием. Он ощупал подкладку гимнастёрки, простучал каблуки сапог, проверил даже подворотничок – но ни ампулы с ядом, ни оружия, ни записок обнаружено не было. И всё же, когда задержанного усадили на табурет и я впервые встретился с ним взглядом, меня не покидало ощущение, что мы что-то упустили.

Я сел напротив. Керосиновая лампа, стоявшая на столе, отбрасывала на стены пляшущие тени, и в этом неровном, колеблющемся свете лицо задержанного казалось то мрачным, то почти безмятежным. Он был плотного сложения, с массивными плечами, но не рыхлый, а по-своему крепкий, словно хорошо отлаженный механизм. Черты лица – грубоватые, но правильные, с тем особым, трудноуловимым отпечатком, какой накладывает на человека привычка повелевать. И глаза. Серые, холодные, спокойные. Они смотрели на меня без страха, без ненависти, без того лихорадочного, загнанного выражения, какое я привык видеть у большинства арестованных. В них было лишь терпеливое, оценивающее ожидание. Так смотрит опытный шахматист на доску, понимая, что позиция не в его пользу, но ещё надеясь на ошибку противника.

– Назовите себя, – произнёс я, кладя перед собой чистый бланк протокола и обмакнув перо в чернильницу.

– Старшина Нефедов, Илья Петрович, – ответил он ровным, лишённым всякой интонации голосом, каким докладывают о состоянии погоды. – Прикомандирован к отделу снабжения из резерва.

– Это ложь, – сказал я так же спокойно, не повышая голоса. – Я мог бы сейчас перечислить вам десяток улик, которые выдают вас с головой. Мог бы указать на сапоги, на руки, на отсутствие документов резервиста. Но я не стану этого делать. Мы оба знаем, кто вы. И мы оба знаем, что пустая трата времени никому из нас не нужна.

Он не ответил. Только чуть заметно, одними уголками губ, усмехнулся – то ли моей прямомоте, то ли собственной незавидной участи. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь монотонным капаньем воды где-то за стеной да далёким, едва слышным гулом фронтовой канонады. Я ждал. Умение ждать – одно из главных орудий следователя, более могуществен-

ное, чем любые угрозы. Ибо в тишине, когда не на что отвлечься, человек начинает говорить сам с собой. А тот, кто говорит с собой, рано или поздно проговаривается.

Прошла минута, другая, третья. Стрелки часов на стене – старых, с маятником, оставшихся ещё с довоенных времён, – неумолимо двигались вперёд, и каждый их шелчок отдавался в тишине, словно удар молота. Лыков, стоявший у двери со скрещёнными на груди руками, напоминал изваяние – столь же невозмутимое и столь же несокрушимое. И наконец, когда я уже начал думать, что он не заговорит вовсе, задержанный поднял голову и посмотрел на меня с выражением, в котором мне почудилось нечто вроде усталой покорности.

– Вы правы, – произнёс он тихо, и его голос, до того ровный, дрогнул на одном слове. – Терять мне нечего. Можете расстрелять.

– Расстрелять вас я всегда успею, – ответил я, и в моём голосе, вероятно, прозвучала та самая холодная, не допускающая возражений интонация, что вырабатывается у людей моей профессии. – Сейчас меня интересует другое. Кто ваш связной? Кому вы должны были передать документы? Где находится ваш передатчик?

Он снова замолчал. Но теперь я видел, что в его глазах идёт напряжённая, лихорадочная работа – он просчитывал варианты, взвешивал шансы, оценивал, что ему выгоднее: молчать и ждать или говорить и торговаться. Я знал этот тип людей. Профессионалы, прошедшие школу в разведцентрах абвера, не ломаются от первого же нажима. Их учили держаться до последнего. Но их же учили и другому: распознавать безвыходные ситуации. И сейчас мой подозреваемый, судя по всему, пришёл к выводу, что его положение именно таково.

– Связника я не знаю, – произнёс он наконец, и в его голосе послышалась глухая, сдержанная горечь. – Таковы правила. Курьер не должен знать резидента. Я получил задание – забрать документы и оставить их в условленном месте. Всё.

– В тайнике у деревни Гнилец? – спросил я, внимательно следя за его реакцией.

Он вздрогнул. Едва заметно, лишь на мгновение, но я уловил это движение – как дёрнулся мускул на его щеке, как чуть расширились зрачки, как пальцы, сжатые в кулаки, на секунду разжались и снова сжались. Он не ожидал, что тайник раскрыт. Это была маленькая, но важная победа. Она означала, что его уверенность в непогрешимости своей организации дала трещину.

– Да, – ответил он после паузы, и голос его прозвучал глухо, словно из-под земли. – В тайнике. Завтра в полночь я должен был оставить там пакет и забрать новый приказ. Теперь, как я понимаю, не придётся.

– И как же вы должны были подтвердить свою личность? – я вынул из папки целлулоидный конверт с тем самым обрывком листовки, что был найден в руке убитого Шапошникова.

При виде этого обрывка лицо задержанного изменилось. С него словно сползла маска спокойствия, обнажив на мгновение то, что скрывалось под ней, – не страх, нет, но горечь поражения. Горечь профессионала, переигранного на его собственном поле. Он долго смотрел на обрывок, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение – уважение к противнику, который оказался сильнее.

– Листовка, – прошептал он. – Значит, капитан всё-таки успел... Я так и думал. Когда он вырвал её у меня, я понял, что дело плохо. Но надеялся, что вы не расшифруете. – Он поднял на меня глаза, и в них впервые мелькнуло что-то похожее на уважение. – Вы не дилетант, капитан. Это хуже для меня, но... лучше для истины.

Я молчал, давая ему выговориться. Опыт подсказывал мне, что сейчас, когда броня его самообладания дала трещину, нужно не давить, а, напротив, позволить ему самому заполнить паузу. И он заполнил её. Он заговорил – быстро, сбивчиво, словно торопясь излить то, что накопилось за эти дни. О своей вербовке в лагере для военнопленных, о том, как его готовили в школе абвера под Варшавой, о задании – внедриться в штабную структуру и передавать сведения о перемещениях войск. Всё это были ценные сведения, но не они занимали меня сейчас.

Меня занимало другое: его взгляд. Тот самый взгляд, что время от времени, на мгновение, устремлялся куда-то в сторону, к двери, к зарешеченному оконцу под потолком. Словно он ждал чего-то. Или кого-то.

И это «что-то» произошло.

Внезапно, без всякого предупреждения, он начал ритмично постукивать ногой по ножке табурета. Три коротких удара. Пауза. Три коротких удара. Пауза. Три коротких удара. Это не было нервным тиком – слишком размеренным, слишком осознанным было это движение. Я сразу понял: сигнал. Условный сигнал, рассчитанный на того, кто мог находиться где-то поблизости – возможно, за дверью, возможно, на улице, у открытого окна. И этот сигнал, я знал, означал одно: «Провал».

– Прекратить! – рявкнул Лыков, бросаясь вперёд. Но было поздно. Арестованный уже завершил своё короткое, убийственное послание.

Он поднял голову и посмотрел на меня. И в его глазах, ещё минуту назад выражавших горечь поражения, теперь светилось нечто иное. Мрачное, холодное торжество. Торжество человека, который, проиграв свою партию, всё же успел сделать последний, решающий ход.

– Вы опоздали, господин капитан, – произнёс он тихо, и его голос был ровен, как поверхность замёрзшего пруда. – Мой куратор теперь знает, что я провален. Он сменит все явки, все пароли, всех людей. Вы получили меня, но потеряли сеть. Партия сыграна вничью.

– Обыскать его! – приказал я, чувствуя, как холодная, липкая ярость поднимается во мне. – Обыскать до нитки!

Лыков и двое конвоиров рванули задержанного, заставили встать, ощупали каждый шов, каждый карман, каждую складку одежды. Ничего. Ни ампулы, ни лезвия, ни зашифрованной записки. Я уже начал было думать, что мы ошиблись, что сигнал был случайностью, как вдруг заметил, как он, на мгновение прикрыв глаза, сжал челюсти – с тем особым, судорожным усилием, какое бывает у человека, раздавливающего что-то во рту. В следующую секунду его лицо исказилось гримасой боли, он дёрнулся, захрипел и начал оседать на пол. Лыков успел подхватить его, но было поздно. Глаза задержанного закатились, тело выгнулось в последней, предсмертной судороге, и изо рта, окрашенная розовой пеной, потекла тонкая струйка слюны с резким, горьким запахом миндаля.

– Цианистый калий, – произнёс я, чувствуя металлический привкус поражения во рту. – Ампула была в дупле зуба. Мы не проверили зубы.

Мы стояли над телом в гнетущей, какой-то неестественно густой тишине. Лыков, тяжело дыша, вытирал рукавом вспотевший лоб. Конвоиры, бледные и растерянные, не знали, куда девать глаза. А я смотрел на мёртвого агента и думал о том, какую дьявольскую изобретательность проявляет враг, когда речь заходит о сохранении его тайн. Этот человек не просто умер. Он умер, успев предупредить своих. И теперь его куратор, где-то там, в ночной тьме, уже знает о провале. Значит, все наши сегодняшние труды пошли прахом.

– Три коротких нажатия, – произнёс я задумчиво, глядя на неподвижное тело. – Условный сигнал. Это значит, что где-то рядом, возможно, в соседнем здании, находился тот, кто должен был его услышать. Кто-то, кто теперь знает всё.

– Прикажете оцепить район? – спросил Лыков, уже беря себя в руки. Его голос снова стал твёрдым и деловым.

– Оцепить, – кивнул я. – Каждый дом, каждый сарай, каждый погреб. Искать свидетелей, опрашивать всех, кто мог что-либо видеть или слышать. Но, боюсь, Семён Ильич, птичка уже улетела. Наш враг – не дурак. Он не станет ждать, пока мы придём за ним.

Я не ошибся. Многочасовые поиски, проведённые той же ночью и на следующее утро, не дали никаких результатов. Куратор исчез, словно растворился в тумане, стелившемся над разбитыми дорогами. Мы нашли лишь брошенный мотоцикл в овраге за станцией да несколько следов, терявшихся в лесополосе. Враг был предупреждён и успел скрыться.

Но эта неудача, как ни странно, не сломила меня. Напротив, она придала мне ту мрачную, сосредоточенную решимость, какая бывает у человека, осознавшего наконец, с кем он имеет дело. Я понял: предсказуемые методы здесь не годятся. Нужно действовать хитрее, опережать врага на шаг, думать так, как думает он. И тогда, быть может, нам удастся переиграть его на его же поле.

Вечером, сидя в своём блиндаже над картами и сводками, я записал в рабочем блокноте несколько строк. Эти строки, сейчас лежащие передо мной, пожелтевшие и полустёртые, я храню до сих пор как напоминание о том дне, когда я впервые по-настоящему понял суть своей работы: «Враг – не дурак. Враг – система. Систему не сломать одним ударом. Её нужно разбирать по винтику, терпеливо и методично. И первый винтик мы сегодня упустили. Но не последний». С этой мыслью я и заснул – тревожным, наполненным обрывками снов сном, какой бывает только после долгой, изматывающей охоты, когда дичь, казалось бы, уже в руках, но вдруг, в последний миг, ускользает сквозь пальцы.

Глава 5. Портрет врага

В те дни, когда весна, окончательно вступив в свои права, обратила грязь фронтовых дорог в серую, чавкающую под колёсами жижу, а небо – в белесый, выцветший купол, под которым особенно отчётливо слышался гул далёкой канонады, я, капитан Роцин, сделал открытие, одновременно и обнадёжившее, и глубоко встревожившее меня. Открытие это не было связано ни с местом преступления, ни с тайником, ни с рапортами патрулей. Оно родилось в тишине моего штабного блиндажа, среди бумаг, карт и тех немых свидетелей, что говорят громче самых крикливых заключённых. Я начал понимать, с кем именно мы имеем дело. И это понимание, словно мозаика, складывалось из осколков, каждый из которых по отдельности мог бы показаться случайным, но вместе они образовывали портрет врага – не романтического злодея из бульварных романов, а нечто гораздо более опасное: холодного, расчетливого организатора.

После самоубийства захваченного агента – а я, признаться, всё ещё ощущал во рту металлический привкус того поражения – работа не замерла, но переменила своё направление. Сигнал, переданный арестованным через стук по табурету, ушёл в ночь, словно камень, брошенный в мутную воду, и круги от него должны были достигнуть того, кто прятался где-то поблизости. Район мы оцепили, проверили каждый сарай, каждый погреб, каждую воронку – но безуспешно. Куратор исчез, словно его и не было. И тогда я обратился к тому, что оставалось в моём распоряжении, – к бумагам.

Документы, захваченные в тайнике у деревни Гнилец, и те немногие обрывки сведений, что удалось собрать по крупицам из допросов оставшихся свидетелей, я передал Рубинчику. Иосиф Львович, чей мозг, казалось, работал как отлаженный механизм, лишь только в него попадала новая порция сведений, затворился в своей каморке с ворохом бумаг и, по своему обыкновению, принялся разговаривать с ними, словно с живыми собеседниками. Через двое суток он вышел ко мне – близоруко щурясь от дневного света и с тем торжественно-сосредоточенным видом, какой бывает у священника, несущего прихожанам обрётённую истину.

– Вот, Павел Андреевич, – произнёс он, усаживаясь на скрипучий табурет и снимая очки, чтобы протереть их кончиком носового платка. – Я восстановил, насколько это возможно, структуру того, с чем мы имеем дело. И позвольте мне сказать вам без ложной скромности: враг наш – не дурак. Более того, он, кажется, умнее многих наших штабных стратегов.

Я взглянул на первый лист. Это была схема, расчерченная цветными карандашами, с кружками, линиями и пояснениями на полях. При всей своей внешней кабинетной аккуратности она дышала той пугающей логикой, что присуща хорошо продуманным системам – систе-

мам, где каждая деталь подогнана к другой, словно шестерёнка к шестерёнке, и любое нарушение этой гармонии грозит разрушением всего механизма.

– Абверкоманда-103, – начал Рубинчик, постучав пальцем по центру схемы. – Насколько мы можем судить по перехватам и косвенным данным, её начальник – майор фон Хайне. О нём самом мы знаем ничтожно мало. Он не из тех, кто любит появляться на авансцене. За весь период работы команды не зафиксировано ни одного случая его личного участия в полевых операциях. Ни одного допроса пленного, ни одного протокола, где бы фигурировало его непосредственное присутствие. Он – аналитик. Кабинетный работник. Но это, уверяю вас, не делает его менее опасным. Скорее, наоборот.

Я внимательно слушал, и перед моим мысленным взором начал вырисовываться образ. Не бряцающий оружием прусский офицер, не любитель коньяка и оперных арий, какими их часто рисуют в пропагандистских листовках. Нет. Это был кто-то иной. Кто-то, кого я, пожалуй, мог бы уважать, не будь он моим врагом. Человек, для которого война – не поле для личной славы, а сложная, многоходовая партия, где пешки – это люди, а ферзи – целые армии.

– Его кабинет, – продолжал Рубинчик, словно читая мои мысли, и его голос стал мечтательным, почти поэтичным, – если позволите мне немного воображения, заставлен не картами с флажками, а подшивками донесений. Бесконечными рядами папок с грифами «Секретно», картотеками агентов, протоколами допросов, сводками радиоперехватов. Он сидит где-то в тишине, вдали от фронта, и перебирает эти бумаги, как ростовщик перебирает долговые расписки. Он не гоняется за эффектными победами. Его цель – сохранение и приумножение капитала. Капитала, состоящего из людей, явок, паролей. Он – банкир агентурной сети.

Я подошёл к столу и склонился над схемой. В кружках, соединённых линиями, угадывались три независимые структуры, каждая со своими связями, каналами и, вероятно, задачами. Одна была обведена красным, другая – синим, третья – зелёным, и каждая ветвь, казалось, жила своей собственной жизнью.

– Три группы, – пояснил Рубинчик, видя мой интерес. – Именно это мне удалось вычлени из обрывков шифровок. Они не знают друг о друге. У каждой – свой куратор, свой круг агентов, свой способ связи. Палец одной руки не ведаёт, что делает палец другой. Потеря одного звена не обрушивает всю сеть. Это принцип, заимствованный у иезуитов, – сегментированная, ячеистая структура.

Он ткнул пальцем в одну из ветвей – красную, самую разветвлённую.

– Та, с которой мы столкнулись, – предположительно группа, имеющая дело с документами прикрытия и внедрением в штабные структуры. Их специализация – легализация, подделка, проникновение. Именно их агента, того самого «старшину Нефедова», мы и взяли. Но это лишь одна ветвь.

Рубинчик перевёл палец на другую ветвь, помеченную значком молнии и синим цветом.

– Вторая, судя по характеру перехваченных сообщений, занимается диверсиями. Их работа – взрывы, порча связи, точечные удары. Мы ещё не сталкивались с ними напрямую, но, думаю, скоро столкнёмся. Их передатчик, та самая «Цикада», которую никак не могут запеленговать до конца, скорее всего, относится именно к этой группе. Работает на коротких волнах, меняет частоты, уходит от слежки как уж.

И, наконец, третья ветвь, отмеченная зелёным цветом и вопросительным знаком.

– О ней мы не знаем почти ничего. Есть лишь косвенные указания на то, что она занимается стратегической разведкой. Сбором сведений о перемещении войск, планах командования. Это, так сказать, сливки. Самая ценная и самая охраняемая часть сети. Возможно, именно с ней был связан капитан Шапошников, сам того не желая.

Я долго смотрел на схему, и в моей душе крепло чувство, похожее на то, какое испытывает шахматист, увидевший на доске замысел противника. Замысел был хорош. Он был элегантен в своей бюрократической завершенности. Фон Хайне создал не просто группу шпионов.

Он создал механизм, работающий на опережение, механизм, способный к самовосстановлению. Механизм, которому не страшны потери отдельных звеньев, ибо он, словно гидра, отращивал новые головы взамен отрубленных.

– А теперь самое главное, Павел Андреевич, – произнёс Рубинчик, и его голос стал тише, почти шёпотом. – Этот сигнал. Три удара ногой. Мы предположили, что куратор находился где-то рядом и услышал его. Это значит, что провал агента уже известен им. И теперь, согласно логике этой машины, – он постучал пальцем по схеме, – вся группа, все явки, все пароли будут сменены в течение ближайших суток, а то и часов. Наши прежние наработки обесценены. Мы должны начинать сначала.

Я выпрямился и отошёл к дощатой стене, на которой висела карта фронта с нанесёнными на неё линиями обороны и стрелами наступления. Тишина блиндажа давила на уши, и в этой тишине я словно слышал щелчки вражеской бюрократической машины, методично перестраивающей свои ряды. Майор фон Хайне, должно быть, уже получил донесение. Возможно, в этот самый момент он сидит в своём кабинете, заставленном подшивками, и холодно, без гнева и раздражения, пишет приказ о смене шифров и перегруппировке сил. Он не будет мстить. Мсть – удел слабых. Он будет сохранять. И в этом заключалась его главная, пугающая сила.

– Что ж, – произнёс я наконец, оторвавшись от карты и поворачиваясь к Рубинчику. – Мы знаем теперь не только врага в лицо, но и метод его работы. Это уже половина победы. Он – аналитик, значит, и бить его нужно его же оружием. Аналитикой. Расчётом. Терпением.

Я повернулся к Рубинчику и увидел, что он смотрит на меня с выражением молчаливого согласия – в его глазах, увеличенных толстыми линзами, светилась та же холодная, сосредоточенная решимость, что и в моих.

– Мы не будем гоняться за каждой новой «Цикадой», – сказал я, и мой голос стал твёрже, увереннее. – Это бессмысленная трата сил, именно то, чего он от нас ждёт. Мы начнём строить свою машину. Машину дезинформации. Мы должны заставить его поверить, что его сеть всё ещё работает, даже когда она будет уничтожена. И для этого, – я положил руку на схему, чувствуя пальцами шероховатость бумаги, – мы используем то, что он так ценит. Его собственную бюрократию. Мы подменим его агентов своими, будем передавать нужные нам сведения, и он, поверив в надёжность своей сети, будет действовать по нашему сценарию.

В тот вечер я впервые за долгое время написал рапорт в Москву, где изложил не только результаты расследования, но и свои соображения о характере предстоящей борьбы. Я писал о том, что враг наш – не кучка фанатиков, а система, возглавляемая человеком, чей ум я не мог не признать выдающимся в своём роде. Я писал, что для победы над этой системой нам потребуются не только храбрость и оперативная хватка, но и то холодное, кропотливое терпение, с каким архивариус разбирает вековую пыль. И я не знал ещё тогда, что судьба готовит мне встречу с этим человеком, встречу, которая состоится не на поле боя, а в тиши кабинетов, за шахматной доской, где фигурами будут служить человеческие жизни.

Так начался новый этап моей службы, и я вступил в него с тем мрачным воодушевлением, какое бывает у человека, осознавшего, что его противник достоин его усилий. Фон Хайне ещё не знал, что в Москве тоже умеют играть в долгую, многоходовую игру. И я, капитан Рошин, собирался стать тем инструментом, который заставит его в этом усомниться.

Глава 6. Операция «Перехват»

Июль тысяча девятьсот сорок третьего года явился на Курскую дугу не в мягком облачении летнего тепла, а в грохоте такого чудовищного масштаба, что сама земля, казалось, стонала и вздыбливалась, не в силах вынести обрушившейся на неё ярости. В те дни, когда на полях под Прохоровкой решалась судьба войны, а в воздухе стоял непрекращающийся гул сотен мото-

ров, моя собственная война, та невидимая битва, что велась в тиши кабинетов и на тайных частотах, вступила в новую, решающую фазу. И если мне суждено будет когда-нибудь вспомнить об этих днях, я вспомню их не как время героических атак, но как время бесконечного, изматывающего терпения, какое бывает у часовщика, собирающего сложнейший механизм под тиканье неумолимого метронома. Каждый миг, каждый вздох, каждое движение пальцев ради-ста – всё это было частью единого, хрупкого механизма, который мог разрушиться от одного неверного прикосновения.

После того как самоубийство агента и его предсмертный сигнал лишили нас надежды на быстрый захват всей сети, я, наученный горьким опытом, принял решение, вызвавшее поначалу недоумение у моего начальства. Вместо того чтобы бросить все силы на поиски ускользнувшего куратора, я приказал затаиться. Прекратить облавы. Свернуть демонстративную активность. Создать у врага впечатление, что мы смирились с неудачей и заняты исключительно оборонительной работой. Это была игра, требовавшая стальных нервов, ибо каждый день бездействия, казалось, отдалял нас от цели. Но я уже знал своего противника. Фон Хайне, кабинетный аналитик, не поверит в хаотичную погоню. Он поверит в систему. И именно эту веру я намеревался использовать.

Наступил момент, когда для решающего удара требовалось задействовать все наши ресурсы, и здесь, словно по какому-то мрачному закону драматургии, на авансцену вышли два совершенно разных человека, чьи судьбы отныне должны были переплестись с моей. Но прежде чем я расскажу о них, я должен описать одно событие, которое, на первый взгляд, могло показаться рутинным, но на деле стало поворотным пунктом всей операции.

В один из тех душных июльских вечеров, когда воздух, казалось, был насыщен не только пылью и гарью, но и той особой, звенящей тревогой, что предшествует большим сражениям, в мой блиндаж вошёл Лыков и доложил о прибытии офицера связи из Москвы. Офицером этим оказался майор Кравченко – человек, чьё имя я уже слышал в кулуарах наркомата, но с которым до сих пор не имел случая встретиться лично. Это был невысокий, подвижный, как ртуть, человек с быстрыми, нервными движениями и тем особым, пронзительным взглядом, что свойствен людям, привыкшим работать в условиях крайнего цейтнота. Он носил новенький, с иголки, мундир, но, судя по тому, как он мял в руках фуражку и как бегали его глаза по сторонам, нервное напряжение, владевшее им, было отнюдь не показным. Пальцы его, лежавшие на столе, чуть заметно подрагивали, выдавая ту скрытую лихорадку, что горела внутри.

– Товарищ капитан, – произнёс он, едва переступив порог, – я прибыл с пакетом особой важности. Разрешите вручить лично.

Я кивком отпустил Лыкова и, оставшись с Кравченко наедине, принял из его рук объёмистый, опечатанный пятью сургучными печатями конверт. Пока я вскрывал его и пробегал глазами содержимое, майор, не в силах усидеть на месте, мерял шагами тесное пространство блиндажа, то и дело поглядывая на часы. В конверте находилось то, чего я ждал с того самого дня, как отправил в Москву свой рапорт с предложением о проведении радиоигры. Санкция. Полная и безоговорочная. И кодовое название операции – «Опыт».

– Итак, товарищ Кравченко, – произнёс я, откладывая бумаги и поднимая глаза, – Москва дала добро. Каковы ваши соображения?

Кравченко остановился и, словно только и ждал этого вопроса, начал излагать план, который, как я сразу понял, был разработан в центральном аппарате и отличался той же скрупулёзной детализацией, что и всё, что исходило из-под пера наших штабных аналитиков. Суть сводилась к тому, чтобы, используя захваченный у убитого агента передатчик и шифры, начать сеансы связи с центром абверкоманды-103 и передавать туда искусно составленную дезинформацию. Цель – убедить немецкое командование, что в районе Поньрей и Золотухино концентрируются крупные резервы, в то время как на самом деле они скрытно перебрасывались на

южный фас Курской дуги, где и должен был решиться исход сражения. Каждая деталь была выверена, каждый шифр проверен, каждая пауза в передаче просчитана.

– Радист для этой цели уже подобран, – продолжал Кравченко, и его голос зазвучал с той особой, деловой уверенностью, что бывает у людей, знающих, что они говорят. – Сержант Горохов, бывший радист дальней авиации. Работал на передатчике захваченного нами «Функципиля» под Вязьмой. Его почерк вне подозрений. Он уже здесь, ожидает ваших указаний.

Я одобрил выбор, но высказал сомнение, которое терзало меня с самого начала: одной радиоигры недостаточно. Фон Хайне – аналитик, он не поверит голословным сообщениям. Ему нужны подтверждения из разных источников. Поэтому я предложил дополнить «Опыт» второй, параллельной линией: легендой о перебежчике, который якобы завербован немцами, но на самом деле является нашим агентом. Он должен перейти линию фронта, сдать в плен и подтвердить ту информацию, что мы будем передавать по радио.

– Это рискованно, – заметил Кравченко, нахмурившись, и его пальцы нервно сжали край стола. – Агент может не вернуться. Или, что хуже, его расколют и используют против нас.

– Агента не будет, – ответил я, и мой голос прозвучал твёрже, чем я сам ожидал. – Того, кого они ждут, мы им не дадим. Вместо него пойдёт наш человек, подготовленный по всем правилам. Он передаст дезинформацию и, сославшись на опасность разоблачения, потребует немедленной эвакуации обратно. Немцы охотно верят таким – предатель, испугавшийся и желающий вернуться под крыло хозяев, это их любимый типаж. Это укладывается в их картину мира.

Кравченко согласился, и мы приступили к обсуждению деталей. В разгар этого обсуждения дверь блиндажа приоткрылась, и на пороге появился Лыков. Он был не один – за его широкой спиной маячила чья-то тень. Присмотревшись, я узнал Ветрова. Того самого лейтенанта, которого я заметил на фильтрационном пункте и чьё дело всё ещё лежало у меня на столе. Он был бледен, но решителен, и в его глазах горел тот самый мрачный, сосредоточенный огонь, что запомнился мне при первой встрече.

– Товарищ капитан, – произнёс он, вытягиваясь в струнку, и в его голосе, несмотря на внешнюю твёрдость, послышалась едва уловимая дрожь, – разрешите обратиться. Я слышал, о чём вы говорили. Позвольте мне пойти. Я был в плену, я знаю, как они мыслят, как проверяют. Я смогу сыграть эту роль.

Я посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. Этот человек, ещё недавно бывший под подозрением, теперь сам рвался в самое пекло. В нём говорило не безрассудство и не жажда славы, а нечто иное – та самая, глубинная потребность доказать, что он не предатель, что его жизнь, спасённая чудом, имеет цену. Я понимал его. Но именно поэтому я не мог позволить ему идти. Слишком многое стояло на кону, и я не имел права рисковать операцией, доверив её человеку, чья психика ещё не до конца оправилась от пережитого. В его глазах, помимо решимости, я видел и тень того самого страха, который мог выдать его в самый неподходящий момент.

– Лейтенант Ветров, – ответил я спокойно, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более ровно и ободряюще, – ваше желание делает вам честь. Но сейчас не время для личных подвигов. Для этой операции у меня есть другой, специально подготовленный агент. Вам же я поручаю иное, не менее важное задание. Вы будете работать с армейскими частями – налаживать связь, собирать информацию, наблюдать. Это покажет вашу истинную ценность. А когда придёт время, я сам скажу вам, что пора действовать.

Он выслушал меня, и на его лице отразилась целая гамма чувств: разочарование, обида, но вместе с тем и облегчение, словно он, сам того не ожидая, получил отсрочку от того, что пугало его больше всего, – от риска вновь оказаться во власти тех, кто когда-то сломал его жизнь. Он кивнул и вышел, а я ещё долго смотрел ему вслед, думая о том, какую цену мы платим за каждый свой шаг на этой невидимой войне.

Последующие дни слились для меня в один непрерывный поток приготовлений, столь же нервных, сколь и скрупулёзных. Рубинчик, которому была поручена техническая сторона операции, работал круглыми сутками, превратив свою каморку в подобие алхимической лаборатории. Он изучал перехваченные радиограммы, анализировал манеру работы немецких радистов, составлял тексты, которые должны были звучать аутентично до последней запятой. Каждая фраза, каждое условное сокращение, каждая ошибка, намеренно допущенная в тексте, были рассчитаны на то, чтобы усыпить бдительность тех, кто сидел по ту сторону фронта. Он даже учитывал время суток, уровень усталости гипотетического радиста и возможные помехи в эфире.

– Вот, полюбуйтесь, Павел Андреевич, – говорил он, показывая мне распечатку очередной шифровки, и его пальцы, испачканные чернилами, дрожали от возбуждения. – Настоящий немецкий радист, работающий в полевых условиях, всегда допускает микроскопические отклонения от стандарта. Он устаёт. Он нервничает. Его пальцы иногда соскальзывают с ключа. Идеальная передача – это признак либо тренажёра, либо работы под контролем. Поэтому Горохов должен работать не идеально. Он должен работать живо. С ошибками, с заминками, с тем естественным несовершенством, что свойственно живому человеку.

Я слушал его и поражался той глубине проникновения в ремесло врага, какой достиг этот тихий, близорукий человек. Поистине, если бы фон Хайне знал, с каким противником имеет дело, он бы, возможно, начал нервничать.

Параллельно шла подготовка агента для внедрения в абвергруппу-102. Этого человека, чьё имя я не вправе здесь называть по соображениям секретности, отобрали из числа добровольцев, прошедших специальную школу. Он был молод, но уже имел опыт разведывательной работы и, что самое важное, безупречно владел немецким языком, усвоенным ещё в детстве, проведённом среди поволжских колонистов. Его легенда была проста и правдоподобна: бывший военнопленный, завербованный в лагере, готовый служить новым хозяевам за страх, а не за совесть. Мы не стали посвящать его во все детали «Опыта» – для его же безопасности. Он знал лишь то, что ему надлежало знать: маршрут перехода, условные сигналы и ту порцию дезинформации, которую он должен был выдать под видом сведений, добытых в советском штабе.

И вот, наконец, наступила та ночь, когда все приготовления были завершены. Я сидел в блиндаже связи, где был установлен передатчик, и смотрел на часы. Стрелки неумолимо приближались к назначенному времени. Горохов, молодой, с пухлыми, почти девичьими губами парень, совершенно преобразившийся, когда его пальцы касались ключа, сидел перед аппаратом, отрешённо глядя в пространство. Его лицо, освещённое тусклым светом лампы, было бледно и сосредоточенно. Рубинчик стоял рядом, сжимая в руках лист с текстом первой радиограммы – на нём уже выступили капли пота, оставив тёмные пятна на бумаге. Лыков, прислонившись к косяку двери, курил папиросу за папиросой, и только по тому, как он мял окурки, я понимал, что он тоже волнуется.

– Начинаем, – произнёс я, когда секундная стрелка описала последний круг. – С Богом.

Горохов кивнул, надел наушники и положил пальцы на ключ. Комнату наполнило сухое, ритмичное постукивание. Точка-тире. Точка-тире. В этих звуках, казалось, сосредоточилась вся суть нашей работы – методичной, невидимой, но смертельно опасной. Информация, уходящая сейчас в эфир, была ложью. Но ложью, способной спасти тысячи жизней. Ложью, в которую враг должен был поверить, ибо она была искусно вплетена в канву правды. Каждый щелчок ключа отдавался в моём сердце, словно удар молота по наковальне.

Той же ночью, когда радиограмма ушла в эфир, наш агент перешёл линию фронта. Его провожали до нейтральной полосы, и я, сидя в блиндаже, мысленно следовал за ним, представляя каждый его шаг, каждое движение, каждую мысль. Я не знал тогда, увижу ли его снова, и молил судьбу лишь об одном: чтобы он справился. Чтобы наша паутина, сплетённая с таким трудом, не порвалась от первого же порыва ветра.

Прошли сутки, двое, трое. Горохов продолжал выходить в эфир, передавая всё новые и новые порции дезинформации, тщательно подготовленные Рубинчиком. Каждый сеанс был риском: немцы могли в любой момент заподозрить неладное, сменить шифр, прекратить связь. Но пока всё шло по плану. Наши сообщения принимались, на них отвечали, и по характеру ответов мы видели, что враг клюёт на наживку.

Наконец, на четвёртую ночь, пришло известие, которого я ждал с замиранием сердца. Возвратился агент. Он был истощён, измучен, на его теле красовались синяки и ссадины – следы допроса, которому его подвергли немцы. Но он выдержал. Он принёс подтверждение: дезинформация принята, ему поверили. Более того, он доставил список вопросов, которые интересовали абвер, – верный признак того, что игра идёт всерьёз. Его глаза, запавшие и покрасневшие, светились той же холодной, торжествующей радостью, что и мои.

Я сидел в блиндаже, глядя на этот список, и чувствовал, как внутри меня, под спудом усталости и нервного напряжения, разгорается огонь холодного, мрачного торжества. Мы сделали это. Мы запустили механизм, который должен был ввести врага в заблуждение и облегчить нашим армиям выполнение их грандиозной задачи. Но вместе с тем я знал: это лишь первый шаг. Настоящая битва ещё впереди. Фон Хайне – не тот противник, которого можно победить одной, пусть даже самой удачной, радиоигрой. Он будет искать проколы, проверять, перепроверять. И наша задача – не дать ему ни единого шанса.

В те дни, когда напряжение достигло своего пика, а канонада Курской битвы сотрясала землю, я часто вспоминал слова Верховного, сказанные в Кремле: «Ваша работа – знать. Знать врага лучше, чем он знает себя сам». Теперь, когда операция «Опыт» была запущена, эти слова приобрели для меня новое, глубокое звучание. Мы действительно начинали узнавать врага. Узнавать его слабости, его страхи, его методы. И это знание, добытое ценой бессонных ночей и нервного напряжения, было самым мощным оружием из всех, что когда-либо попадали в мои руки.

Где-то далеко, в тишине берлинского кабинета, майор фон Хайне, возможно, именно в эти минуты читал донесение своего агента – то самое, что мы сочинили для него. И верил ему. И это была наша общая, пока ещё невидимая миру, но оттого не менее важная победа. Победа разума над грубой силой, терпения над спешкой, системы над хаосом.

Глава 7. Зачистка и арест Круглова

Если читатель, следуя за мной по пятам, сообразовал припомнить то состояние духа, в каком я пребывал после запуска радиоигры «Опыт», он, вероятно, представит себе нечто вроде зыбкого равновесия, какое бывает у канатоходца, ступившего на туго натянутый трос и ещё не знающего, удержит ли его верёвка или оборвётся под ногами. Именно в таком состоянии я и находился все те долгие июльские дни, когда Курская битва гремела где-то на севере, а я, сидя в своём блиндаже, словно паук в центре паутины, ждал известий от Горохова, от нашего агента, ушедшего за линию фронта, от осведомителей, раскинутых по штабам. Каждый час бездействия был мучителен, но я понимал: сейчас, когда механизм уже запущен, самое опасное – это суета. Одно неверное движение, одна поспешная облава – и вся наша комбинация рухнет, как карточный домик.

И всё же, несмотря на все предосторожности, работа не стояла на месте. Рубинчик, этот неутомимый крот, продолжал анализировать перехваченные радиogramмы, и именно его усилиями мы начали нащупывать ту самую нить, что вела к сердцу вражеской сети – к человеку, скрывавшемуся под псевдонимом «Крот». Это имя, мелькавшее в расшифровках всё чаще, принадлежало, судя по всему, одному из тех, кто занимал не последнее место в нашей собственной штабной иерархии. «Крот» не был рядовым агентом. Он был источником – тем самым звеном, через которое утекали самые секретные сведения. Его сообщения отличались точно-

стью и полнотой, и это означало, что он имеет доступ к документам высочайшего уровня. Каждое его донесение, каждое слово было выверено до запятой, словно он боялся ошибиться даже в мелочи.

Недели две ушло на то, чтобы вычислить, кто именно скрывается за этим псевдонимом. Рубинчик составил список подозреваемых – офицеров, чьи должности давали им доступ к оперативным планам. Лыков, со своей обычной мужицкой дотошностью, проверил каждого, отсеивая одного за другим. И вот, в одну из душных, пропитанных испарениями размокшей земли ночей, он вошёл в мой блиндаж и доложил:

– Есть, товарищ капитан. Круглов. Капитан интендантской службы Иван Дмитриевич Круглов. Сорок лет, беспартийный, из бывших счетоводов. Работает в отделе снабжения, но имеет доступ к штабной документации – оформляет командировочные предписания и продовольственные аттестаты для офицеров связи. Его окно выходит как раз на тот узел, через который проходят все курьеры. Идеальная позиция для наблюдателя. Никто не обратит внимания на интенданта, который просто пишет бумажки.

Я помню, как при этих словах что-то внутри меня дрогнуло – то самое, неуловимое чувство, которое опытный следователь распознаёт безошибочно. Чувство близкой развязки. Круглов. Это имя, ещё вчера ни о чём мне не говорившее, вдруг обрело вес и плотность, словно кусок свинца, упавший на стол. Я представил его – тихого, незаметного счетовода, который день за днём перебирает бумаги, и в каждой из них видит не цифры, а ключи к секретам, которые он продаёт врагу.

– Наблюдение установлено? – спросил я, чувствуя, как внутри меня натягивается тугая струна ожидания.

– Так точно. Круглов под негласным надзором уже трое суток. Никаких подозрительных контактов, но сегодня ночью он покинул казарму и направился к старой мельнице, что у оврага. Видимо, там у него тайник или передатчик. Если брать – то сейчас. Пока он там, пока не вернулся.

Я на мгновение задумался. Брать – значит спугнуть остальную сеть. Но и оставлять такого агента на свободе было нельзя: слишком много он знал, слишком много вреда мог ещё причинить. К тому же, если его куратор, наученный горьким опытом с «Нефедовым», заподозрит неладное, Круглов просто исчезнет, и тогда мы потеряем всё. Каждая секунда промедления могла стоить нам не только информации, но и жизней тех, кого он уже успел выдать.

– Брать, – приказал я, и мой голос прозвучал твёрже, чем я сам ожидал. – Готовьте группу. Я иду с вами.

Ночь, когда мы выдвинулись к мельнице, была из тех, что надолго остаются в памяти своей непроглядной, какой-то осязаемой тьмой. Луна, словно заговорщица, пряталась за плотными, низко нависшими тучами, и лишь далёкие зарницы на горизонте изредка освещали мокрые от недавнего дождя деревья. Мы шли цепочкой, стараясь не шуметь, и каждый хруст ветки под сапогом отдавался в ушах гулким набатом. Лыков, как всегда, двигался впереди – его крупная, кряжистая фигура скользила между стволами с той бесшумной, медвежьей грацией, что была его отличительной чертой. За ним – трое автоматчиков, отобранных лично мной. И я, замыкающий цепочку, с пистолетом в руке и холодом внутри, какой бывает только перед решающим броском.

Мельница, вернее, то, что от неё осталось, стояла на краю глубокого оврага, заросшего бузиной и крапивой. Это было мрачное, полуразрушенное строение с провалившейся крышей и пустыми глазницами окон. Но в одном из этих окон, выходившем в сторону оврага, мерцал слабый, едва заметный свет. Кто-то был внутри. Кто-то, кому нужна была полная изоляция от внешнего мира. Свет был неярким – скорее всего, зажжённая коптилка или свеча, прикрытая тканью.

Лыков подал знак – и мы рассредоточились. Двое бойцов зашли с тыла, перекрывая возможный путь к бегству. Я и Лыков, пригнувшись, приблизились к двери. Изнутри доносился едва слышный, ритмичный писк – азбука Морзе. Сомнений быть не могло: там, в темноте, работал передатчик. Пальцы невидимого радиста выстукивали сообщение, и каждый щелчок ключа отдавался в моей груди.

– На счёт «три», – прошептал я, чувствуя, как пересохло во рту. – Раз, два...

Дверь, подгнившая и трухлявая, подалась от одного удара. Мы ворвались внутрь, и луч трофейного фонаря, зажатого в руке Лыкова, выхватил из мрака сцену, которая навсегда врезалась в мою память. За грубо сколоченным столом, спиной к нам, сидел человек. Перед ним стояла портативная радиостанция, и его правая рука, лежавшая на ключе, замерла на полуслове, оборванном нашим вторжением. Он не обернулся, не вскрикнул, не попытался бежать. Он лишь медленно, словно с неохотой, убрал руку с ключа и поднял голову. На столе, рядом с аппаратом, лежал лист бумаги с только что начатой передачей – несколько групп цифр, ещё не дописанных до конца.

– СМЕРШ! – рявкнул Лыков. – Руки вверх!

Человек подчинился. Он поднял руки и только тогда повернулся к нам. Это был мужчина лет сорока, с узким, бледным лицом и тёмными, глубоко посаженными глазами, которые смотрели на нас с выражением не страха, но какого-то безразличного, усталого равнодушия. Он был одет в обычную красноармейскую форму без знаков различия, но сидела она на нём как-то слишком аккуратно, слишком по-городскому. И эта аккуратность, это отсутствие той неизбежной неряшливости, что свойственна большинству фронтовиков, выдавала его с головой. Пальцы его, лежавшие на столе, были тонкими, холёными – не пальцы счетовода, а пальцы человека, привыкшего к тонкой работе.

– Капитан Круглов? – спросил я, хотя ответ был очевиден.

Он чуть заметно усмехнулся – одними уголками губ. Усмешка вышла сухой, безрадостной, словно он оценил иронию ситуации, но не счёл её достойной более бурного проявления эмоций.

– Он самый, – ответил он ровным, лишённым интонации голосом, в котором, однако, мне почудился лёгкий, едва уловимый акцент – не то немецкий, не то прибалтийский. – Что ж, господа, ваша взяла. Вяжите.

Обыск, произведённый Лыковым немедленно, дал богатую добычу. В подполе, под половицей, был оборудован тайник – точно такой же, как у Гнильца, только гораздо более вместительный. Там, аккуратно упакованные в прорезиненный мешок, хранились: рация, запасные батареи, шифроблокноты, несколько бланков командировочных предписаний с уже проставленными печатями и – что оказалось самой ценной находкой – микрофотокамера «Минокс» с несколькими отснятыми, но ещё не проявленными плёнками. Судя по всему, Круглов готовился передать своему куратору очередную порцию сведений, когда мы его взяли. Плёнки, если их проявить, могли дать нам ключи к его агентурной сети.

Но самая важная деталь обнаружилась не в тайнике, а на нём самом. Вернее, её отсутствие. И здесь я должен попросить у читателя позволения сделать небольшое отступление, ибо то, что случилось далее, стало одним из тех поворотных моментов, что определили всё дальнейшее течение моей истории.

Когда Лыков, следуя моему приказу, осматривал задержанного, он обратил внимание на одну особенность. Вернее, на её отсутствие. В личном деле Круглова, хранившемся в штабе, была запись об особой примете: татуировка на правом плече в виде двуглавого орла – следа боевой молодости, проведённой на флоте. Запись эта была сделана ещё в сорок первом, при постановке на воинский учёт, и заверена подписью начальника мобилизационного отдела. Лыков, педантично исполнявший все мои инструкции, приказал задержанному снять гимнастёрку. Тот, пожав плечами, подчинился – с той же равнодушной, почти ленивой грацией, с какой

снимают надоевшую одежду. И тогда мы оба увидели: правое плечо Круглова было чистым. Никакой татуировки. Ни малейшего следа – ни шрама, ни пигментного пятна, ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.